
ГЕОРГІЙ
ИВАНОВЪ
РАСПАДЪ
АТОМА
ПАРИЖЪ - 1938

РАСПАДЪ АТОМА

ГЕОРГИЙ ИВАНОВЪ

РАСПАДЪ АТОМА

парижъ - 1938

Опустись же. Я могъ бы сказать — взвейся. Это одно и то же.

Фаустъ, вторая часть.

Я дышу. Можетъ быть, этотъ воздухъ отравленъ? Но это единственный воздухъ, которымъ мнѣ дано дышать. Я ощущаю то смутно, то съ мучительной остротой различныя вещи Можетъ быть, напрасно о нихъ говорить? Но нужна или ненужна жизнь, умно или глупо шумятъ деревья, наступаетъ вечеръ, льетъ дождь? Я испытываю по отношенію къ окружающему смѣшанное чувство превосходства и слабости: въ моемъ сознаніи законы жизни тѣсно переплетены съ законами сна.

Должно быть, благодаря этому перспектива міра сильно искажена въ моихъ глазахъ. Но это какъ разъ единственное, чѣмъ я еще дорожу, единственное, что еще отдѣляетъ меня отъ всепоглащающаго мірового уродства.

Я живу. Я иду по улицѣ. Я захожу въ кафэ. Это сегодняшній день, это моя неповторимая жизнь. Я заказываю стаканъ пива и съ удовольствіемъ пью. За сосѣднимъ столикомъ пожилой господинъ съ розеткой. Этихъ благополучныхъ старичковъ, по моему, слѣдуетъ уничтожать. — Ты старъ. Ты благоразуменъ. Ты отецъ семейства.У тебя жизненный опытъ. А, собака! — Получай. У господина представительная наружность. Это цѣнится. Какая чепуха: представительная. Если бы красивая, жалкая, страшная, какая угодно. Нѣтъ, именно представительная. Въ Англіи, говорятъ, даже существуетъ профессія —

лжесвидѣтелей съ представительной наружностью, внушающей судьямъ довѣріе. И не только внушаетъ довѣріе, сама неисчерпаемый источникъ самоувѣренности. Одно изъ свойствъ міровото уродства — оно представительно.

Въ сущности, я счастливый человѣкъ. То есть, человѣкъ, расположенный быть счастливымъ. Это встрѣчается не такъ часто. Я хочу самыхъ простыхъ, самыхъ обыкновенныхъ вещей. Я хочу порядка. Не моя вина, что порядокъ разрушенъ. Я хочу душевнаго покоя. Но душа, какъ взбаломученное помойное ведро — хвостъ селедки, дохлая крыса, обгрызки, окурки, то ныряя въ мутную глубину, то показываясь на поверхность, несутся въ перегонки. Я хочу чистаго воздуха. Сладковатый тлѣнъ — дыханіе мірового

уродства — преслѣдуетъ меня, какъ страхъ.

Я иду по улицѣ. Я думаю о различныхъ вещахъ. Салатъ, перчатки... Изъ людей, сидящихъ въ кафе на углу, кто то умретъ первый, кто то послѣднiй, — каждый въ свой точный, опредѣленный до секунды срокъ. Пыльно, тепло. Эта женщина, конечно, красива, но мнѣ не нравится. Она въ нарядномъ платьѣ и идетъ улыбаясь, но я представляю ее голой, лежащей на полу съ черепомъ, раскроеннымъ топоромъ. Я думаю о сладострастiи и отвращенiи, о садическихъ убiйствахъ, о томъ, что я тебя потерялъ навсегда, кончено. «Кончено» —жалкое слово». Какъ будто, если хорошенько вдуматься слухомъ, не всѣ слова одинаково жалки и страшны? Жиденькое противоядiе смысла удивительно быстро перестающее дѣйствовать и за нимъ глухонѣмая

пустота одиночества. Но что они понимали въ жалкомъ и страшномъ — они, вѣрившіе въ слова и смыслъ, мечтатели, дѣти, незаслуженные баловни судьбы!

Я думаю о различныхъ вещахъ и, сквозь нихъ, непрерывно думаю о Богѣ. Иногда мнѣ кажется, что Богъ такъ же непрерывно, сквозь тысячу посторонних вещей, думаетъ обо мнѣ. Свѣтовыя волны, орбиты, колебанія, притяженія и сквозь нихъ, какъ лучъ, непрерывная мысль обо мнѣ. Иногда мнѣ чудится даже, что моя боль частица божьяго существа. Значитъ, чѣмъ сильнѣе моя боль... Минута слабости, когда хочется произнести вслухъ — Вѣрю, Господи... Отрезвленіе мгновенно вступающее въ права послѣ минуты слабости.

Я думаю о натѣльномъ крестѣ, кото-

рый я носилъ съ дѣтства, какъ носятъ револьверъ въ карманѣ — въ случаѣ опасности онъ долженъ защитить, спасти. О фатальной неизбѣжной осѣчкѣ. О сіяніи ложныхъ чудесъ, поочередно очаровывавшихъ и разочаровавшихъ міръ. И о единственномъ достовѣрномъ чудѣ — томъ неистребимомъ желаніи чуда, которое живетъ въ людяхъ, несмотря ни на что. Огромномъ значеніи этого. Отблескѣ въ каждое, особенно русское сознаніе.

Охъ, это русское, колеблющееся, зыблющееся, музыкальное, онанирующее сознаніе. Вѣчно кружащее вокругъ невозможнаго, какъ мошкара вокругъ свѣчки. Законы жизни, сросшіеся съ законами сна. Жуткая метафизическая свобода и физическія преграды на каждомъ шагу. Неисчерпаемый источникъ превосходства, слабости, геніальныхъ неудачъ. Охъ, странныя разновидности наши, слоняющіяся по сей день неприкаянными тѣнями по свѣту : англоманы, толстовцы, снобы русскіе — самые гнусные снобы міра — и раз-

ные русскіе мальчики, клейкіе листочки, и завѣтный русскій типъ, рыцарь славнаго ордена интеллигенціи, подлецъ съ болѣзненно развитымъ чувствомъ отвѣтственности. Онъ всегда на стражѣ, онъ, какъ ищейка, всюду чуетъ несправедливость, куда угнаться за нимъ обыкновенному человѣку! Охъ, наше прошлое и наше будущее, и наша теперешняя покаянная тоска. «А какъ живо было дитятко»... Охъ, эта пропасть ностальгіи, по которой гуляетъ только вѣтеръ, донося оттуда страшный интернаціоналъ и отсюда туда, жалобное, астральное, точно отпѣвающее Россію, «Боже, Царя верни»...

Я иду по улицѣ, думаю о Богѣ, всматриваюсь въ женскія лица. Вотъ эта хорошенькая, мнѣ нравится. Я представляю себѣ, какъ она подмывается. Разставивъ ноги, немного подогнувъ колѣни. Чулки сползаютъ съ колѣнъ, глаза гдѣ то въ самой глубинѣ бархатно темнѣютъ, выраженіе невинное, птичье. Я думаю о томъ, что средняя француженка, какъ правило, аккуратно подмывается, но рѣдко моетъ ноги. Къ чему? Вѣдь всегда въ чулкахъ, очень часто не снимая туфелекъ. Я думаю о Франціи вообще. О девятнадцатомъ вѣ-

кѣ, который задержался здѣсь. О фіалочкахъ на Мадленъ, булкахъ, мокнущихъ въ писуарахъ, подросткахъ, идущихъ на первое причастіе, каштанахъ, распространеніи трипера, серебряномъ холодкѣ аве Марія. О днѣ перемирія въ 1919 году. Парижъ бѣсился. Женщины спали, съ кѣмъ попало. Солдаты влѣзали на фонари, крича пѣтухомъ. Всѣ танцовали, всѣ были пьяны. Никто не слышалъ, какъ голосъ новаго вѣка сказалъ: «Горе побѣдителямъ».

Я думаю о войнѣ. О томъ, что она, ускоренная, какъ въ кинематографѣ, сгущенная въ экстрактъ жизнь. Что въ несчастьяхъ, постигшихъ міръ, война, сама по себѣ, была не при чемъ. Толчекъ, ускорившій неизбѣжное, больше ничего. Какъ опасно больному все опасно, такъ старый порядокъ поползъ отъ перваго толчка. Больной съѣлъ огурецъ и померъ. Міровая война была этимъ

огурцомъ. Я думаю о банальности такихъ размышленій и одновременно чувствую, какъ тепло или свѣтъ, умиротворящую ласку банальности. Я думаю о эпохѣ, разлагающейся у меня на глазахъ. О двухъ основныхъ разновидностяхъ женщинъ: либо проститутки, либо гордые тѣмъ, что удержались отъ пpoстистуціи. О безчеловѣчной міровой прелести и одушевленномъ міровомъ уродствѣ. О природѣ, о томъ, какъ глупо описываютъ ее литературные классики. О всевозможныхъ гадостяхъ, которыя люди дѣлаютъ другъ-другу. О жалости. О ребенкѣ, просившемъ у рождественскаго дѣда новые глаза для слѣпой сестры. О томъ, какъ умиралъ Гоголь: какъ его брили, стращали страшнымъ судомъ, ставили піявки, насильно сажали въ ванну. Я вспоминаю старую колыбельную: «У кота воркота была мачеха лиха». Я опять возвращаюсь къ мысли, что я человѣкъ, расположенный

быть счастливымъ. Я хотѣлъ самой обыкновенной вещи — любви.

Съ моей, мужской точки зрѣнія... Впрочемъ, точка зрѣнія можетъ быть только мужская. Женской точки зрѣнія не существуетъ. Женщина, сама по себѣ, вообще не существуетъ. Она тѣло и отраженный свѣтъ. Но вотъ ты вобрала мой свѣтъ и ушла. И весь мой свѣтъ ушелъ отъ меня.

Мы скользимъ пока по поверхности жизни. По переферіи. По синимъ волнамъ океана. Видимость гармоніи и порядка. Грязь, нѣжность, грусть. Сейчасъ мы нырнемъ. Дайте руку, неизвѣстный другъ.

Сердце перестаетъ биться. Легкіе отказываются дышать. Мука похожая на восхищеніе. Все нереально, кромѣ нереальнаго, все безсмысленно, кромѣ безсмыслицы. Человѣкъ одновременно слѣпнетъ и прозрѣваетъ. Такая стройность и такая путаница. Часть ставшая больше цѣлаго — часть все, цѣлое ничто. Догадка, что ясность и законченность міра, — только отраженіе хаоса въ мозгу тихаго сумасшедшаго. Догадка что книги, искусство — все равно что описанія подвиговъ и путешествій, предназначенныя для тѣхъ кто никогда никуда не поѣдетъ и никакихъ подвиговъ

не совершитъ. Догадка, что огромная, духовная жизнь разрастается и перегораетъ въ атомѣ, человѣкѣ, внѣшне ничѣмъ не замѣчательномъ, но избранномъ, единственномъ, неповторимомъ. Догадка, что первый встрѣчный на улицѣ и есть этотъ единственный, избранный, неповторимый. Множество противорѣчивыхъ догадокъ, какъ будто подвтерждающихъ, на новый ладъ, вѣчную неосязаемую правду. Тайныя мечты. — Скажи, о чемъ ты мечтаешь тайкомъ и я тебѣ скажу, кто ты. — Хорошо, я попытаюсь сказать, но разслышишь ли ты меня? Все гладко замуровано, на поверхности жизни не пробьется ни одного пузырька. Атомъ, точка, глухонѣмой генiй и подъ его ногами глубокiй подпочвенный слой, суть жизни, каменный уголь перегнившихъ эпохъ. Мiровой рекордъ одиночества. — Такъ отвѣть, скажи, о чемъ ты мечтаешь тайкомъ тамъ на самомъ днѣ твоего одиночества?

Исторія моей души и исторія міра. Они переплетены, какъ жизнь и сонъ. Они срослись и проросли другъ въ друга. Какъ фонъ, какъ трагическая подмалевка, за ними современная жизнь. Обнявшись, слившись, переплетясь они уносятся въ пустоту со страшной скоростью тьмы, за которой лѣниво, даже не пытаясь ее догнать, движется свѣтъ.

Фанфары. Утро. Великолѣпный занавѣсъ. Никакого занавѣса нѣтъ. Но желаніе прочности, плотности такъ властно, что я чувствую на ощупь его зат-

каный толстый шелкъ. Его ткали съ утра до вечера голубоглазыя мастерицы. Одна была невѣстой... Его не ткали нигдѣ. Мимо. Мимо.

Дохлая крыса лежитъ въ помойномъ ведрѣ, среди окурковъ, вытрясенныхъ изъ пепельницы, рядомъ съ ваткой, которой въ послѣднiй разъ подмылась невѣста. Крыса была завернута въ кусокъ газеты, но въ ведрѣ онъ, развернувшись, всплылъ — можно еще прочесть обрывки позавчерашнихъ новостей. Третьяго дня онѣ еще были новостями, окурокъ дымился во рту, крыса была жива, дѣвственная плева была нетронутой. Теперь все это мѣшаясь, обезцвѣчиваясь, исчезая, уничтожаясь, улетаетъ въ пустоту, уносится со страшной скоростью тьмы, за которой, какъ черепаха, даже не пытаясь ее догнать, движется свѣтъ.

Лезвіе отъ безопасной бритвы, зацѣпившись за расбухшій окурокъ, отражаетъ радужный, сквозь помои, солнечный лучъ и наводитъ его на морду крысы. Она оскалена, на острыхъ зубахъ сукровица. Какъ могло случится, что такая старая, опытная, осторожная, богобоязненная крыса — не убереглась, съѣла ядъ? Какъ могъ министръ, подписавшій версальскій договоръ, на старости лѣтъ провороваться изъ за дѣвченки? Представительная наружность, каменный крахмальный воротничекъ, командорскій крестъ, «Германія должна платить» и въ подтвержденіе этой аксіомы твердый росчеркъ на историческомъ пергаментѣ, историческимъ золотымъ перомъ. И вдругъ дѣвченка, чулки, колѣнки, теплое нѣжное дыханіе, теплое розовое влагалище и не версальскаго договора, ни командорскаго креста, — опозоренный

старикъ умираетъ на тюремной койкѣ. Некрасивая, респектабельная вдова, кутаясь въ крепъ, уѣзжаетъ навсегда въ провинцію, дѣти стыдятся имени отца, коллеги въ сенатѣ укоризненно-грустно качаютъ плѣшивыми головами. Но виновникъ всей этой грязи и чепухи уже опередилъ ее, опередилъ давно, опередилъ еще въ ту минуту, когда дверь спальни закрылась за нимъ, ключъ щелкнулъ, прошлое исчезло, осталась дѣвченка на широкой кровати, поддѣланный вексель, блаженство, позоръ, смерть. Опередивъ судьбу, онъ летитъ теперь въ ледяномъ пространствѣ и вѣчная тьма шелеститъ фалдами его чопорнаго, старомоднаго сюртука. Впереди его летятъ окурки и историческіе договоры, вычесанные волосы и отцвѣтшія міровыя идеи, сзади другія волосы, договоры, окурки, идеи, плевки. Если тьма донесетъ его въ концѣ концовъ подножью престола, онъ не

скажетъ Богу: «Германія должна платить». «О ты, послѣдняя любовь»... растерянно пролепечетъ онъ.

Совокупленіе съ мертвой дѣвочкой. Тѣло было совсѣмъ мягко, только холодновато, какъ послѣ купанья. Съ напряженіемъ, съ особеннымъ наслажденіемъ. Она лежала, какъ спящая. Я ей не сдѣлалъ зла. Напротивъ, эти нѣсколько судорожныхъ минутъ жизнь еще продолжалась вокругъ нея, если не для нея. Звѣзда блѣднѣла въ окнѣ, жасминъ доцвѣталъ. Сѣмя вытекло обратно, я вытеръ его носовымъ платкомъ. Отъ толстой восковой свѣчи я закурилъ папиросу. Мимо. Мимо.

Ты уносила мой свѣтъ, оставляя ме-

ня въ темнотѣ. Въ тебѣ одной, без остатка, сосредоточилась вся прелесть міра. А я мучительно жалѣлъ, что ты будешь стара, больна, некрасива, будешь съ тоской умирать, и я не буду съ тобой, не солгу, что ты поправляешься, не буду держать тебя за руку. Я долженъ былъ бы радоваться, что не пройду хоть черезъ эту муку. Между тѣмъ, здѣсь заключалось главное, можетъ быть, единственное, что составляло любовь. Ужасъ при одной этой мысли всегда былъ звѣздой моей жизни. И вотъ тебя давно нѣтъ, а она попрежнему свѣтитъ въ окнѣ.

Я въ лѣсу. Страшный, сказочный, снѣжный пейзажъ ничего непонимающей, взволнованной, обреченной души. Банки съ раковыми опухолями: кишечникъ, печень, горло, матка, грудь. Блѣдные выкидыши въ зеленоватомъ спирту. Въ 1920 году въ Петербургѣ

этотъ спиртъ продавался для питья — его такъ и звали «младенцовка». Рвота, мокрота, пахучая слизь, проползающая по кишкамъ. Падаль. Человѣческая падаль. Поразительное сходство запаха сыра съ запахомъ ножного пота.

Рождество на сѣверномъ полюсѣ. Сіянье и снѣгъ. Чистѣйшій саванъ зимы, заметающій жизнь.

Вечеръ. Іюль. Люди идутъ по улицѣ. Люди тридцатыхъ годовъ двадцатаго вѣка. Небо начинаетъ темнѣть, скоро проступятъ звѣзды. Звѣзды тридцатыхъ годовъ двадцатаго вѣка. Можно описать сегодняшній вечеръ, Парижъ, улицу, игру тѣней и свѣта въ перистомъ небѣ, игру страха и надежды въ одинокой человѣческой душѣ. Можно сдѣлать это умно, талантливо, образно, правдоподобно. Но чуда уже сотворить нельзя — ложь искусства нельзя выдать за правду. Недавно это еще удавалось. И вотъ...

То, что удавалось вчера, стало сегодня невозможнымъ, неосуществимымъ. Нельзя повѣрить въ появленіе новаго Вертера, отъ котораrго вдругъ по всей Европѣ начнутъ щелкать востороженные выстрѣлы, очарованыхъ, упоен - ныхъ самоубійцъ. Нельзя представить тетрадку стиховъ, перелиставъ которую современный человѣкъ смахнетъ проступившія сами собой слезы и посмотритъ на небо, вотъ на такое же вечернее небо, съ щемящей надеждой. Невозможно. Такъ невозможно, что не вѣрится, что когда то было возможнымъ. Новые желѣзные законы, перетягивающіе міръ, какъ сырую кожу, не знаютъ утѣшешенія искусствомъ. Болѣе того, эти, — еще неясные, уже неотвратимые — бездушно справедливые законы, рождающіеся въ новомъ мірѣ или рождающіе его, имѣютъ обратную силу : не только нельзя создать новаго геніальнаго утѣшенія, уже почти нельзя

утѣшиться прежнимъ. Есть люди, способные до сихъ поръ плакать надъ судьбой Анны Карениной. Они еще стоятъ на исчезающей вмѣстѣ съ ними почвѣ, въ которую былъ вкопанъ фундаментъ театра, гдѣ Анна, облокотясь на бархатъ ложи, сіяя мукой и красотой, переживала свой позоръ. Это сіянье почти не достигаетъ до насъ. Такъ чуть чуть потускнѣвшими косыми лучами — не то послѣдній отблескъ утраченнаго, не то подтвержденіе, что утрата непоправима. Скоро все навсегда поблекнетъ. Останется игра ума и таланта, занятное чтеніе, не обязывающее себѣ вѣрить и не внушающее больше вѣры. Вродѣ Трехъ Мушкетеровъ. То, что самъ Толстой почувствовалъ раньше всѣхъ, неизбѣжная черта, граница, за которой — никакого утѣшенія вымышленной красотой, ни одной слезы надъ вымышленной судьбой.

Я хочу самыхъ простыхъ, самыхъ обыкновенныхъ вещей. Я хочу заплакать, я хочу утѣшиться. Я хочу со щемящей надеждой посмотрѣть на небо. Я хочу написать тебѣ длинное прощальное письмо, оскорбительное, небесное, грязное, самое нѣжное въ мірѣ. Я хочу назвать тебя ангеломъ, тварью, пожелать тебѣ счастья и благословить, и еще сказать, что гдѣ бы ты ни была, куда бы ни укрылась — моя кровь миріадомъ непрощающихъ, никогда не простящихъ частицъ будетъ виться вокругъ тебя. Я хочу забыть, отдохнуть, сѣсть въ поѣздъ, уѣхать въ Россію,

пить пиво и ѣсть раковъ теплымъ вечеромъ на качающемся поплавкѣ надъ Невой. Я хочу преодолѣть отвратительное чувство оцепенѣнія: у людей нѣтъ лицъ, у словъ нѣтъ звука, ни въ чемъ нѣтъ смысла. Я хочу разбить его, все равно какъ. Я хочу просто перевести дыханіе, глотнуть воздуху. Но никакого воздуха нѣтъ.

Яркій свѣтъ и толкотня кафэ даютъ на минуту иллюзію свободы: ты увернулся, ты выскочилъ, гибель проплыла мимо. Не пожалѣвъ двадцати франковъ,можно пойти съ блѣдной хорошенькой дѣвченкой, которая медленно проходитъ по тротуару и останавливается, встрѣтивъ мужской взглядъ. Если сейчасъ ей кивнуть — иллюзія уплотнится, окрѣпнетъ , порозовѣетъ налетомъ жизни, какъ призракъ, хлебнувшій крови, растянется на десять, двѣнадцать. двадцать минутъ.

Женщина. Плоть. Инструментъ, изъ котораго извлекаетъ человѣкъ ту единственную ноту изъ божественной гаммы, которую ему дано слышать . Лампочка горитъ подъ потолкомъ. Лицо откинуто на подушкѣ. Можно думать, что это моя невѣста. Можно думать, что я подпоилъ дѣвченку и воровски, впохыхахъ, насилую ее. Можно ничего не думать, содрогаясь, вслушиваясь, слыша удивительныя вещи, ожидая наступленія минуты, когда горе и счастье, добро и зло, жизнь и смерть скрестятся какъ во время затменія на своихъ орбитахъ готовыя соединиться въ одно, когда жуткій зеленоватый свѣтъ жизни-смерти, счастья-мученья хлынетъ, изъ погибшаго прошлаго, изъ твоихъ погасшихъ зрачковъ.

Исторія моей души и исторія міра. Они сплелись и проросли другъ въ друга. Современность за ними, какъ трагическій фонъ. Сѣмя, которое не могло ничего оплодотворить, вытекло обратно, я вытеръ его носовымъ платкомъ. Все таки тутъ, пока это длилось, еще трепетала жизнь.

Исторія моей души. Я хочу ее воплотить, но умѣю только развоплощать. Я завидую отдѣлывающему свой слогъ писателю, смѣшивающему краски художнику, погруженному въ звуки музыканту, всѣмъ этимъ, еще неперевед-

шимся на землѣ людямъ чувствительно-безсердечной, дальнозорко-близорукой, общеизвѣстной, ни на на что уже ненужной породы, которые вѣрятъ, что пластическое отраженіе жизни есть побѣда надъ ней. Былъ бы только талантъ, особый творческій живчикъ въ умѣ, въ пальцахъ, въ ухѣ, стоитъ только взять кое что отъ выдумки, кое-что отъ дѣйствительности, коечто отъ грусти, кое что отъ грязи, сравнять все это, какъ дѣти лопаткой выравниваютъ песокъ, украсить стилистикой и воображеніемъ, какъ глазурью кондитерскій тортъ и дѣло сдѣлано, все спасено, безсмыслица жизни, тщета страданья, одиночество, мука, липкій тошнотворный страхъ — преображены гармоніей искусства.

Я знаю этому цѣну и все таки завидую имъ: они блаженны. Блаженны спящіе, блаженны мертвые. Блаженъ

знатокъ передъ картиной Рембрандта, свято убѣжденный, что игра тѣней и свѣта на лицѣ старухи міровое торжество, передъ которымъ сама старуха ничтожество, пылинка, ноль. Блаженны эстеты. Блаженны балетоманы. Блажены слушатели Стравинскаго и самъ Стравинскій. Блаженны тѣни уходящаго міра, досыпающе его послѣдніе, сладкіе, лживые такъ долго баюкавшіе человѣчество сны. Уходя, уже уйдя изъ жизни, они уносятъ съ собой огромное воображаемое богатство. Съ чѣмъ останемся мы?

Съ увѣренностью, что старуха безконечно важнѣй Рембрандта. Съ недоумѣніемъ, что намъ съ этой старухой дѣлать. Съ мучительнымъ желаніемъ ее спасти и утѣшить. Съ яснымъ сознаніемъ что никого спасти и ничѣмъ утѣшить нельзя. Съ чувствомъ, что только сквозь хаосъ противорѣчій можно пробиться

къ правдѣ. Что приближеніе возможно только черезъ искаженіе. Что на саму реальность нельзя опереться: фотографія лжетъ и всякій человѣческій документъ завѣдомо подложенъ. Что все среднее, классическое, умиротворенное немыслимо, невозможно. Что чувство мѣры, какъ угорь, ускользаетъ изъ рукъ того, кто силится его поймать и что эта неуловимость послѣднее изъ его сохранившихся творческихъ свойствъ. Что когда, наконецъ, оно поймано — поймавшій держитъ въ рукахъ пошлость. «Въ рукахъ его мертвый младенецъ лежалъ»: Что у всѣхъ кругомъ на рукахъ эти мертвые младенцы. Что тому, кто хочетъ пробраться сквозь хаосъ противорѣчій къ вѣчной правдѣ, хотя бы къ блѣдному отблеску ея, остается одинъ единственный путь: пройти надъ жизнью, какъ акробатъ по канату, по неприглядной, растрепанной, противорѣчивой стенограммѣ жизни.

Фотографія лжетъ. Человѣческій документъ подложенъ. Заблудившись въ зданіи берлинскаго полицейпрезидіума я случайно попалъ въ этотъ корридоръ. Стѣны были увѣшены фотографіями. Ихъ было нѣсколько десятковъ, всѣ онѣ изображали одно. Такъ этихъ самоубійцъ или жертвъ преступленій застала полиція. Молодой нѣмецъ виситъ на подтяжкахъ, башмаки снятые для удобства, лежатъ рядомъ съ перевернутымъ стуломъ. Старуха: большое пятно на груди, формой напоминающее пѣтуха, — сгустокъ крови изъ перерѣзаннаго горла. Толстая, голая прости-

тутка съ распоротымъ животомъ. Художникъ, застрѣлившiйся съ голоду или несчастной любви или отъ того и другого вмѣстѣ. Подъ развороченнымъ черепомъ пышный артистическiй бантъ, рядомъ на мольбертѣ какiя то вѣтки и облака, неоконченная пачкотня святого искусства. Вытаращенные глаза, закушенные языки, гнусныя позы, отвратительныя раны и все вмѣстѣ взятое однообразно, академично, нестрашно. Ни одинъ завитокъ кишки, вылѣзшiй изъ распоротаго живота, ни одна гримаса, ни одинъ кровоподтекъ не ускользнулъ отъ фотографическаго объектива, но главное ускользнуло, главнаго нѣтъ. Я смотрю и не вижу ничего, что бы взволновало меня, заставило душу содрогнуться. Я дѣлаю надъ собой усилiе — ничего. И вдругъ мысль о томъ, что ты дышешь здѣсь на землѣ, вдругъ въ памяти, какъ живое, твое прелестное, безсердечное, лицо.

И я сразу вижу и слышу все — все горе, всю муку, всѣ напрасныя мольбы, всѣ предсмертныя слова. Какъ хрипѣла съ перерѣзаннымъ горломъ старуха, какъ путаясь въ кишкахъ, отбивалась отъ садиста проститутка какъ — точно это былъ я самъ — умиралъ бездарный, голодный художникъ. Какъ лампа горѣла. Какъ разсвѣтъ свѣтлѣлъ. Какъ будильникъ стучалъ. Какъ стрѣлка приближалась къ пяти. Какъ не рѣшаясь, рѣшившись, онъ облизнулъ губы. Какъ въ неловкой, потной рукѣ онъ сжалъ револьверъ. Какъ ледяное дуло коснулось пылавшаго рта. Какъ онъ ненавидѣлъ ихъ, остающихся жить, и какъ онъ завидывалъ имъ.

Я хотѣлъ бы выйти на берегъ моря, лечь на песокъ, закрыть глаза, ощутить дыханье Бога на своемъ лицѣ. Я хотѣлъ бы начать издалека — съ синя-

го платья, съ размолвки, съ зимняго туманнаго дня. «На холмы Грузіи легла ночная мгла», — такими приблизительно словами я хотѣлъ бы говорить съ жизнью.

Жизнь больше не понимаетъ этаго языка. Душа еще не научилась другому. Такъ болѣзненно отмираетъ въ душѣ гармонія. Можетъ быть, когда она совсѣмъ отомретъ, отвалится, какъ присохшая болячка, душѣ станетъ снова первобытно-легко. Но переходъ мед ленъ и мучителенъ. Душѣ страшно. Ей кажется, что одно за другимъ отсыхаетъ все, что ее животворило. Ей кажется, что отсыхаетъ она сама. Она не можетъ молчать и разучилась говорить. И она судорожно мычитъ, какъ глухонѣмая, дѣлаетъ безобразныя гримасы. «На холмы Грузіи легла ночная мгла» — хочетъ она звонко, торжественно произнести, славя Творца и се-

бя. И, съ отвращеніемъ, похожимъ на наслажденіе бормочетъ матерную брань съ метафизическаго забора, какое то «дыръ бу щылъ убѣщуръ».

Синее платье, размолвка, зимній туманный день. Тысяча другихъ платьевъ, размолвокъ, дней. Тысяча ощущеній, безотчетно пробѣгающихъ въ душѣ каждаго человѣка. Немногіе, получившіе права гражданства, вошедшіе въ литературу, въ обиходъ, въ разговоръ. И остальные, безчисленные, еще не нашедшіе литературнаго выраженія, не отдѣлившіеся еще отъ утробнаго заумнаго ядра. Но отъ этого ничуть не менѣе плоскіе: тысячи невоплощенныхъ банальностей терпѣливо ждущихъ своего Толстого. Догадка, что искусство, творчество въ общепринятомъ смыслѣ, ничто иное, какъ охота за все новыми и новыми банальностями. Догадка, что гармонія, къ которой стремится оно, ничто

иное, какъ нѣкая верховная банальность. Догадка, что истинная дорога души вьется гдѣ то въ сторонѣ — штопоромъ, штопоромъ — сквозь міровое уродство.

Я хочу говорить о своей душѣ простыми, убѣдительными словами. Я знаю, что такихъ словъ нѣтъ. Я хочу разсказать, какъ я тебя любилъ, какъ я умиралъ, какъ я умеръ, какъ надъ моей могилой былъ поставленъ крестъ и какъ время и черви превратили этотъ крестъ въ труху. Я хочу собрать горсточку этой трухи, посмотрѣть на небо въ послѣднiй разъ и съ облегченiемъ дунуть на ладонь. Я хочу разныхъ, одинаково неосуществимыхъ вещей — опять вдохнуть запахъ твоихъ волосъ на затылкѣ и еще извлечь изъ хаоса ритмовъ тотъ единственный ритмъ, отъ котораго, какъ скала отъ детонацiи, должно рухнуть міровое уродство. Я хочу разсказать о

человѣкѣ, лежавшемъ на разрытой кровати, думавшемъ, думавшемъ, думавшемъ, — какъ спастись, какъ поправить, — не придумавшемъ, ничего. О томъ, какъ онъ задремалъ, какъ онъ проснулся, какъ все сразу вспомнилъ, какъ вслухъ точно о постороннемъ сказалъ: «Онъ не былъ Цезаремъ. Была у него только эта любовь. Но въ ней заключалось все — власть, корона, безсмертіе. И вотъ рухнуло, отнята честь, сорвали погоны». Я хочу объяснить простыми убѣдительными словами множество волшебныхъ, неповторимыхъ вещей — о синемъ платьѣ, о размолвкѣ, о зимнемъ туманномъ днѣ. И еще я хочу предостеречь міръ отъ страшнаго врага, жалости. Я хочу крикнуть такъ, что бы всѣ слышали: люди, братья, возмитесь крѣпко за руки и поклянитесь быть безжалостными другъ къ другу. Иначе она — главный врагъ порядка — бросится и разорветъ васъ.

Я хочу въ послѣдній разъ вызвать изъ пустоты твое лицо, твое тѣло, твою нѣжность, твою безсердечность, собрать перемѣшанное, истлѣвшее твое и мое, какъ горсточку праха на ладони, и съ облегченіемъ дунуть на нее. Но жалость снова все путаетъ, снова мѣшаетъ мнѣ. Я опять вижу туманъ чужого города. Нищій вертитъ ручку шарманки, обезьянка, дрожа отъ холода, съ блюдечкомъ обходитъ зѣвакъ. Тѣ подъ зонтиками хмурые, нехотя бросаются мѣдяки. Хватитъ ли на ночлегъ, чтобы укрыться обнявшись, до утра...

Мнѣ представилось это средь шумнаго бала — подъ шампанское, музыку, смѣхъ, шелестъ шелка, запахъ духовъ. Это былъ одинъ изъ твоихъ самыхъ счастливыхъ дней. Ты сіяла молодостью, прелестью, безсердечностью. Ты веселилась, ты торжествовала надъ жиз-

нью. Я взглянулъ на тебя, улыбающуюся, окруженную людьми. И увидѣлъ : обезьянка, туманъ, зонтики, одиночество, нищета. И отъ ѣдкой жалости, какъ отъ невыносимаго блеска, я опустилъ глаза.

Содроганіе, которое вызываетъ жалость. Содроганіе, переходящее обязательно въ чувство мести. За глухого ребенка, за безмысленную жизнь, за униженія, за дырявыя подошвы. Отомстить благополучному міру — поводъ безразличенъ. «Въ комъ сердце есть», знаетъ это. Этотъ почти механическій переходъ отъ растерянной жалости — къ « «ужо погодите» — другой формѣ безсилія. Даже звѣрьки волновались шептались, долго сочиняли : «Памфлетъ-протестъ » — «Вы, которые котовъ мучаете». Просили нельзя ли напечатать въ газетахъ, чтобы всякій прочелъ.

Звѣрьки были съ нами неразлучны. Они ѣли изъ нашихъ тарелокъ и спали въ нашей кровати. Главными изъ нихъ были два Размахайчика.

Размахайчикъ Зеленые Глазки былъ добродушный, ласковый, никому не дѣлавшій зла. Сѣрые Глазки, когда подросъ, оказался съ характеромъ. Онъ при случаѣ могъ и укусить. Ихъ нашли подъ скамейкой метро, въ коробкѣ отъ финиковъ. Къ коробкѣ была приколота записка: Размахайчики, иначе Размахаи, иначе Размахайцы. Австралійскаго происхожденія. Просятъ любить, кормить и водить на прогулку въ Булонскій лѣсъ.

Были и другіе звѣрьки: Голубчикъ Жухла, Фрыштикъ, Китайчикъ, глупый Цутикъ, отвѣчавшій на всѣ вопросы одно и то же — «Цутикъ и есть». Была старая, грубоватая наружно,

но нѣжнѣйшая въ душѣ Хамка съ куцымъ рыбьимъ хвостомъ. Гдѣ-то въ сторонѣ, непринимаемый въ компанію, наводящій непріязнь и страхъ водился мрачный фонъ Клопъ.

У звѣрьковъ былъ свой бытъ, свои привычки, своя философія, своя честь, свои взгляды на жизнь. Была у нихъ собственная звѣриная страна, границы которой, какъ океанъ омывалъ сонъ. Страна была обширная и не до конца обслѣдованная. Извѣстно было, что на югѣ живутъ верблюды, ихъ по пятницамъ приходитъ мыть и стричь бѣлая лошадь. На крайнемъ сѣверѣ всегда горѣла елка и стояло вѣчное Рождество.

Звѣрьки объяснялись на смѣшанномъ языкѣ. Были въ немъ собственныя австралійскія слова. Были слова, передѣланныя изъ обыкновенныхъ на австралійскій ладъ. Такъ, въ письмахъ

они обращались другъ къ другу «ногоуважаемый» и на конвертѣ писали «его высоконоподбородію». Они любили танцы, мороженное, прогулки, шелковые банты, праздники, имянины. Они такъ и смотрѣли на жизнь: Изъ чего состоитъ годъ? — Изъ трехъ сотъ шестидесяти пяти праздничковъ. — А мѣсяцъ? — Изъ тридцати имянинъ.

Они были славными звѣрьками. Они, какъ могли, старались украсить нашу жизнь. Они не просили мороженаго, когда знали, что нѣтъ денегъ. Даже, когда имъ было очень грустно, они танцовали и праздновали имянины. Они отворачивались и старались не слушать, когда слышали что нибудь плохое. — Звѣрьки, звѣрьки, нашептывалъ, имъ по вечерамъ изъ щели страшный фонъ Клопъ, — жизнь уходитъ, зима приближается. Васъ засыпетъ снѣгомъ, вы замерзнете, вы умрете, звѣрьки —

вы, которые такъ любите жизнь. Но они прижимались тѣснѣй другъ къ другу, затыкали ушки и спокойно, съ достоинствомъ, отвѣчали — «Это насъ не кусается».

Человѣкъ бродитъ по улицамъ, думаетъ разныя вещи, заглядываетъ въ чужія окна. Его воображеніе работаетъ помимо его. Онъ не замѣчаетъ его работы. Онъ сидитъ въ кафэ, пьетъ пиво и читаетъ газету. Пренія въ палатѣ депутатовъ. Автомобили въ разсрочку. Онъ дремлетъ, ему снится чепуха. Чернило пролилось на скатерть. Рыба проплыла — чернило исчезло. Надо закрыть дверь, но ключъ не лѣзетъ въ скважину. Общественное мнѣніе Англіи. Циклонъ. Оказывается, рыба и есть ключъ, оттого-то онъ и не подходилъ.

Спящій вдругъ просыпается. Ни рыбы, ни общественнаго мнѣнія.

Сидѣть въ кафэ, слоняться по улицамъ, заглядывать въ чужія окна все таки лучшее утѣшеніе, чѣмъ Анна Каренина или какая нибудь мадамъ Бовари. Слѣдить за влюбленными, которые сидятъ прижавшись за невыпитымъ кофе, потомъ плутаютъ по улицамъ, наконецъ, оглянувшись, входятъ въ дешевую гостинницу, то же, если не большие, чѣмъ самые совершенные стихи о любви. «Ходитъ маленькая ножка, вьется локонъ золотой». Вотъ она маленькая ножка стучитъ по асфальту монмартрскаго тротуара, вотъ мелькнулъ и скрылся золотой локонъ за стеклянной дверью отеля. Это сегодняшній день, это трепещущее улетающее мгновеніе моей неповторимой жизни — конечно, развѣ можно сравнивать, — это выше всѣхъ вмѣстѣ взятыхъ стиховъ. Топотъ ножки

замолкъ, локонъ мелькнулъ и исчезъ за дверью. Постоимъ, подождемъ. Вотъ окно зажглось въ первомъ этажѣ. Вотъ задернулась порьтера.

Лакей получилъ франкъ на чай и оставилъ ихъ однихъ. Лампочка подъ потолкомъ, пестрыя обои, бѣлое эмалевое биде. Можетъ быть, это въ первый разъ. Можетъ быть, это блаженнѣйшая въ мірѣ любовь. Можетъ быть, Наполеонъ воевалъ и Титаникъ тонулъ только для того, чтобы сегодня вечеромъ эти двое рядомъ легли на кровать. По верхъ одѣяла, поверхъ каменно-застланной простыни торопливое, неловкое, безсмертное объятіе. Колѣни въ сползающихъ чулкахъ широко разворочены; волосы растрепаны на подушкѣ, лицо прелестно-искажено. О, подольше, подольше. Скорѣй, скорѣй.

— Погоди. Знаешь ли ты, что это?

Это наша неповторимая жизнь. Когда нибудь, черезъ сто лѣтъ, о насъ напишутъ поэму, но тамъ будутъ только звонкія рифмы и ложь. Правда здѣсь. Правда этотъ день, этотъ часъ, это ускользающее мгновенье. Никто не раздвигалъ твоихъ коленей и вотъ я на яркомъ свѣту, на бѣлой выутюженной простынѣ, безцеременно раздвигаю ихъ. Тебѣ стыдно и больно. Каждая капля твоей боли и стыда входитъ полнымъ вѣсомъ въ мое безпамятное торжество.

Кто они, эти двое? О, не все ли равно. Ихъ сейчасъ нѣтъ. Есть только сіяніе, трепещущее во внѣ, пока это длится. Только напряженіе, вращеніе, сгораніе, блаженное перерожденіе сокровеннаго смысла жизни. Ледяная вершина міровой прелести, освѣщенная бѣглымъ огнемъ. Сѣменные канатики, яичники, прорванная плева, черемуха, развороченныя колѣни, безъ памяти,

звѣзды, слюна, простыня, жилки дрожать, вдребезги, вдребезги, ы... ы... ы... Единственная нота, доступная человѣку, ея жуткій звонъ. О, подольше, подольше, скорѣй, скорѣй. Послѣднія судороги. Горячее сѣмя, стекающее къ сокращающейся, вибрирующей маткѣ. Желанье описало полный путь по спирали, закинутой глубоко въ вѣчность и вернулось назадъ, въ пустоту. «Это было такъ прекрасно, что не можетъ кончиться со смертью», записываетъ послѣ брачной ночи молодой Толстой.

Въ кафэ сидитъ человѣкъ. Обыкновенный человѣчекъ, ноль. Одинъ изъ тѣхъ, о которыхъ пишутъ послѣ катастрофы: убито десять, ранено двадцать шесть. Не директоръ треста, не изобрѣтатель, не Линдбергъ, не Чаплинъ, не Монтерланъ. Онъ прочелъ газету и знаетъ теперь, какъ настроено общественное мнѣніе Англіи. Онъ допилъ кофе и зоветъ гарсона, чтобы расплатиться. Онъ разсѣянно думаетъ, что ему дальше дѣлать — пойти въ кинематографъ или отложить деньги на лотерейный билетъ. Онъ спокоенъ, онъ мирно настроенъ, онъ спитъ, ему снится чепуха. И вдругъ,

внезапно онъ видитъ передъ собой черную дыру своего одиночества. Сердце перестаетъ биться, легкіе отказываются дышать. Мука, похожая на восхищеніе.

Атомъ неподвиженъ. Онъ спитъ. Все гладко замуровано, на поверхность жизни не пробьется ни одного пузырька. Но если его ковырнуть. Пошевелить его спящую суть. Зацѣпить, поколебать, расщепить. Пропустить сквозь душу милліонъ вольтъ, а потомъ погрузить въ ледъ. Полюбить кого нибудь больше себя, а потомъ увидѣть дыру одиночества, черную ледяную дыру.

Человѣкъ, человѣчекъ, ноль растерянно смотритъ передъ собой. Онъ видитъ черную пустоту, и въ ней, какъ бѣглую молнію, непостижимую суть жизни. Тысячи безымянныхъ, безотвѣтныхъ вопросовъ на мгновеніе освѣщае-

мыхъ бѣглымъ огнемъ и сейчасъ же поглощаемыхъ тьмой.

Сознаніе, трепеща, изнемогая, ищетъ отвѣта. Отвѣта нѣтъ ни на что. Жизнь ставитъ вопросы и не отвѣчаетъ на нихъ. Любовь ставитъ... Богъ поставилъ человѣку — человѣкомъ — вопросъ, но отвѣта не далъ. И человѣкъ, обреченный только спрашивать, не умѣющій отвѣтить ни на что. Вѣчный синонимъ неудачи, — отвѣтъ. Сколько прекрасныхъ вопросовъ было поставлено за исторію міра и что за отвѣты были на нихъ даны...

Два милліарда обитателей земного шара. Каждый сложенъ своей мучительной, неповторимой, одинаковой, ни на что не нужной, постылой сложностью. Каждый, какъ атомъ въ ядро, заключенъ въ непроницаемую броню одиночества. Два милліарда обитателей земного ша-

ра — два милліарда исключеній изъ правила. Но въ тоже время и правило. Всѣ отвратительны. Всѣ несчастны. Никто не можетъ ничего измѣнить и ничего понять. Братъ мой Гете, братъ мой консьержъ, оба вы не знаете, что творите и что творитъ съ вами жизнь.

Точка, атомъ сквозь душу котораго пролетаютъ милліоны вольтъ. Сейчасъ они ее расщепятъ. Сейчасъ неподвижное безсиліе разрѣшится страшной взрывчатой силой. Сейчасъ, сейчасъ. Уже заколебалась земля. Уже что то скрипнуло въ сваяхъ Эйфелевой башни. Самумъ мутными струйками закрутился въ пустынѣ. Океанъ топитъ корабли. Поѣзда летятъ подъ откосъ. Все рвется, ползетъ, плавится, разсыпается въ прахъ — Парижъ, улица, время, твой образъ, моя любовь.

Человѣкъ, человѣчекъ, ноль сидитъ

съ остановившимся взглядомъ. Подходитъ лакей, сдаетъ сдачу. Человѣкъ переводитъ дыханіе, встаетъ. Онъ закуриваетъ папиросу, онъ идетъ по улицѣ. Его сердце еще не разорвалось, — вотъ оно по прежнему бьется въ груди. Міровое уродство не рухнуло — вотъ оно, какъ скала, попрежнему подпираетъ міръ.

Синее платье, размолвка, зимній туманный день. Желаніе говорить, стремленье пѣть — о своей любви, о своей душѣ. Изойти, захлебнуться простыми, убѣдительными словами, словами, которыхъ нѣтъ...

Какъ началась наша любовь? Банально, банально. Какъ все прекрасное началась банально. Вѣроятно, гармонія и есть банальность. Вѣротно, на это безсмысленно роптать. Вѣроятно, для всѣхъ былъ и есть одинъ единственный

путь — какъ акробатъ по канату пройти надъ жизнью по мучительному ощущенію жизни. Неуловимому ощущенію, которое возникаетъ въ послѣдней физизической близости, послѣдней недоступности, въ нѣжности разрывающей душу, въ потерѣ всего этого навсегда, навсегда. Разсвѣтъ за окномъ. Желанье описало полный путь и ушло въ землю. Ребенокъ зачатъ. Зачѣмъ нуженъ ребенокъ? Безсмертія нѣтъ. Не можетъ не быть безсмертья. Зачѣмъ мнѣ нужно безсмертье, если я такъ одинокъ?

Разсвѣтъ за окномъ. На смятой простынѣ въ моихъ рукахъ вся невинная прелесть міра и недоумѣнный вопросъ, что дѣлать съ ней. Она божественна, она безчеловѣчна. Что же дѣлать человѣку съ ея безчеловѣчнымъ сіяніемъ? Человѣкъ это морщины, мѣшки подъ глазами, известь въ душѣ и крови, человѣкъ это прежде всего сомнѣніе въ

своемъ божественномъ правѣ дѣлать зло. «Человѣкъ начинается съ горя», какъ сказалъ какой то поэтъ. Кто же споритъ. Человѣкъ начинается съ горя. Жизнь начинается завтра. Волга впадаетъ въ Каспійское море. Дыръ бу щылъ убѣщуръ.

Этотъ день, этотъ часъ, эта ускользающая минута. Тысячи такихъ же дней и минутъ, одинаковыхъ, неповторимыхъ. Этотъ перистый парижскій закатъ, тускнѣющій у меня на глазахъ. Тысячи такихъ же закатовъ, надъ современностью, надъ будущимъ, надъ погибшими вѣками. Тысячи глазъ, глядящихъ съ той же надеждой въ ту же сіяющую пустоту. Вѣчный вздохъ міровой прелести:— я отцвѣтаю, я гасну, меня больше нѣтъ. «На холмы Грузіи легла ночная мгла». И вотъ она такъ же ложится на холмъ Монмартра. На крыши, на перекрестокъ, на вывѣску ка-

фэ, на полукругъ писуара, гдѣ съ тревожнымъ шумомъ, совсѣмъ, какъ въ Арагвѣ, шумитъ вода.

Напротивъ писуара скамейка. На скамейкѣ старикъ въ лохмотьяхъ. Онъ куритъ подобранный на панели окурокъ У него безразличный дремлющій видъ. Но это притворство. Насторожившись, онъ слѣдитъ за входящими въ то отдѣленіе писуара, гдѣ на клочкѣ газеты лежитъ кусокъ хлѣба, набухшій отъ мочи. Вотъ рабочій съ толстой шеей на ходу разстегиваетъ штаны. Широко разставивъ ноги, онъ мочится надъ булкой. Блаженная судорога въ душѣ вшиваго старикашки. Сейчасъ оглянувшись, торопливо подвернувъ промокшую газету, на которой еще можно прочесть обрывки вчерашнихъ новостей, онъ унесетъ эту булку домой. Сейчасъ, сейчасъ, — чавкая, запивая краснымъ виномъ представляя до послѣднихъ мелочей рабоча-

го съ толстой шеей, мальчишку въ желтыхъ башмакахъ, всѣхъ, всѣхъ пропитавшихъ своей терпкой, теплой мочей эти полкило gros pain. Сейчасъ, сейчасъ. Мука, похожая на восхищеніе, блаженная судорога. Уходя, онъ что то бормочетъ на ходу. Можетъ быть, его глухонѣмая душа силится промычать на свой ладъ — «На холмы Грузіи»...

Закаты, тысячи закатовъ. Надъ Россіей, надъ Америкой, надъ будущимъ, надъ погибшими вѣками. Раненый Пушкинъ упирается локтемъ въ снѣгъ и въ его лицо хлещетъ красный закатъ. Закатъ въ мертвецкой, въ операціонной, надъ океаномъ, надъ Альпами, въ досчатомъ лагерномъ нужникѣ: всѣ оттѣнки желтаго и коричневаго, запятые на стѣнкахъ, сложная вонь, перебиваемая свѣжестью сквозящей въ щели. Новобранецъ, розовый парень, придерживая одной рукой дверь, поспѣшно

онанируетъ другой. Задохнувшись, заглушенно вскрикнувъ, онъ кончаетъ. Съ полстакана, заливая пальцы липкимъ тепломъ, спугнувъ мухъ, шлепается въ коричневое мѣсиво. Лицо парня сѣрѣетъ Онъ вяло подтягиваетъ штаны. Такъ и не удалось вообразить оставленную въ деревнѣ невѣсту. Конечно его убьютъ на войнѣ, можетъ быть еще въ этомъ году.

Закатъ надъ Тамплемъ. Закатъ надъ Лубянкой. Закатъ въ день объявленія войны и въ день перемирія: всѣ танцовали, всѣ были пьяны, никто не слышалъ шалъ, какъ голосъ сказалъ — Горе побѣдителямъ. Закатъ въ комнатѣ, гдѣ когда то мы жили съ тобой: синее платье лежало на этомъ стулѣ.

Петербургскій ранній закатъ давно погасъ. Акакій Акакіевичъ пробирается со службы къ Обухову мосту. Шинель уже украдена? Или онъ только мечтаетъ о новой шинели? Потерянный русскій человѣкъ стоитъ на чужой улицѣ, передъ чужимъ окномъ и его онанирующее сознаніе воображаетъ каждый вздохъ, каждую судорогу, каждую складку на простынѣ, каждую пульсирующую жилку. Женщина уже обманула его, уже растворилась безъ слѣда въ перистомъ вечернемъ небѣ? Или онъ только предчувствуетъ встрѣчу съ ней? Не все ли равно.

Закатъ давно погасъ. Служба давно кончилась. На чердакѣ у Обухова моста булькаетъ теплое пиво, клубится табачный дымъ. «Онъ былъ титулярный совѣтникъ, она генеральская дочь» — вкрадчиво, нѣжно, бархатно вздыхаетъ гитара. Разцвѣтаетъ чердачный канцелярскій мифъ — мифъ самозащита и противовѣсъ ледяному мифу пушкинской ясности. Мифъ сѣрная кислота, тайная мечта — который эту ясность обезобразитъ, разъѣстъ, растлитъ.

Акакій Акакіевичъ получаетъ жалованіе, переписываетъ бумаги, копитъ деньги на шинель, обѣдаетъ и пьетъ чай. Но все это только поверхность, сонъ, чепуха, безконечно далекая отъ сути вещей. Точка, душа, неподвижна и такъ мала, что ее не разглядѣть и въ самый сильный микроскопъ. Но внутри, подъ непроницаемымъ ядромъ оди-

ночества, безконечная нелѣпая сложность, страшная взрывчатая сила, тайныя мечты, ѣдкіе, какъ сѣрная кислота. Атомъ неподвиженъ. Онъ крѣпко спитъ. Ему снится служба и Обуховъ мостъ. Но если пошевелить его, зацѣпить, расщепить...

Генеральская дочка, Психея, ангельчикъ вбѣгаетъ, вся въ кисеѣ, въ кабинетъ его превосходительства и чернильная крыса, человѣчекъ, ноль, раболѣпная тѣнь въ сюртукѣ съ чужого плеча отвѣчиваетъ ей низкій поклонъ. Только и всего. Психея пролепечетъ: bonjour papa, поцѣлуетъ румяную генеральскую щеку, блеснетъ улыбкой, прошелеститъ кисеей и упорхнетъ. И никто не знаетъ, никто не догадывается, какая это видимость, сонъ, суета...

Съ головой, отуманенной скукой жизни и пивомъ, подъ вкрадчивый ро-

котъ гитары, Акакій Акакіевичъ оставляетъ суету и поверхность и опускается въ суть вещей. Тайныя мечты обволакиваютъ образъ Психеи и мало по малу, его жадная мысль превращается въ ея желанную плоть. Преграды, такія непреодолимыя днемъ — падаютъ сами собой. Онъ неслышно скользитъ по пустому спящему городу, незамѣченный никѣмъ входитъ въ темные покои его превосходительства, безшумной тѣнью, между статуй и зеркалъ, по паркетамъ и коврамъ пробирается къ самой спальнѣ ангельчика. Открываетъ дверь, останавливается на порогѣ, видитъ «рай, какого и на небесахъ нѣтъ». Видитъ ея разбросанное на креслѣ бѣльецо, видитъ ее сонное личико на подушкѣ, видитъ ту скамеечку, на которую она ставитъ по утрамъ ножку, надѣвая на эту ножку бѣлый, какъ снѣгъ, чулочекъ. Онъ былъ титулярный совѣтникъ, она генеральская дочь. И вотъ... Ничего, ничего, молчаніе.

Подъ рокотъ гитары, отуманенный тайными мечтами, настойчивымъ, воспаленнымъ, направленнымъ долгіе часы, долгіе годы въ одну точку воображеніемъ, онъ матеріализуетъ Психею, заставляетъ ее самое придти на его чердакъ, лечь на его кровать. И она приходитъ, ложится, поднимаетъ кисейный подолъ, раздвигаетъ голыя атласистыя колѣнки. Онъ былъ титулярный совѣтникъ, она генеральская дочь. Онъ при встрѣчѣ раболѣпно кланялся ей, не смѣя поднять глазъ отъ своихъ заплатанныхъ сапогъ. И вотъ, широко разставивъ колѣнки, улыбаясь невинной улыбкой ангельчика, она покорно ждетъ, чтобы онъ всласть, вдребезги, вдребезги натѣшился ей.

«Красуйся градъ Петровъ и стой» задорно, наперекоръ предчувствію, восклицаетъ Пушкинъ и въ донжуанскомъ спискѣ кого только нѣтъ. «Ничего, ничего, молчаніе» бормочетъ Гоголь, закативъ глаза въ пустоту, онанируя подъ холодной простыней.

«Красуйся и стой». На поверхности жизни, въ ясныхъ, хотя бы и закатныхъ лучахъ, какъ будто и такъ. Вотъ Парижъ стоитъ же до сихъ поръ. Этимъ теплымъ лѣтнимъ вечеромъ онъ прекрасенъ. Каштаны, автомобили, мидинетки въ лѣтнихъ платьицахъ. Волшебство

вспыхнувшихъ фонарей вокругъ безобразнѣйшихъ въ мірѣ статуй. Россыпь цвѣтовь на лоткахъ. Сакрэ Кэръ на темнѣющемъ небѣ. Несмотря на предчувствіе, душа тянется къ жизни. Вотъ она въ легкихъ перистыхъ облакахъ. — «Я увядаю, я гасну, меня больше нѣтъ». И совсѣмъ, какъ въ Арагвѣ, торжественно, грустно, глухо въ писуарѣ шумитъ вода.

Но закатъ быстро темнѣетъ и ночная мгла еще быстрѣй овладѣваетъ человѣкомъ. Она уводитъ его за собой въ такую глубину, что, вернувшись на поверхность, онъ уже не узнаетъ ее. Но онъ и не вернется. Въ черномъ счастьи, куда все глубже — штопоромъ, штопоромъ — завинчивается душа, зачѣмъ ей эта давно поколебленная неколебимость , и ея давно обезображенная краса? Петра выпотрошатъ изъ гроба и съ окуркомъ въ зубахъ прислонять къ стѣн-

къ Петропавловскаго собора, подъ хохотъ красноармейцевъ и ничего, не провалится Петропавловскій соборъ. Дантесъ убьетъ Пушкина, а Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ вѣжливенько пожметъ руку Дантесу и ничего, не отсохнетъ его рука. И какое намъ дѣло до всего этого, здѣсь на самомъ днѣ нашихъ душъ. Наши одинаковыя, разные, глухонѣмыя души — почуяли общую цѣль и — штопоромъ, штопоромъ — сквозь видимость и поверхность завинчиваются къ ней. Наши отвратительныя, несчастныя, одинокія души соединились въ одну и штопоромъ, штопоромъ сквозь міровое уродство, какъ умѣютъ, продираются къ Богу.

Блѣдная хорошенькая дѣвченка за медляетъ шаги, встрѣтивъ мужской взглядъ. Если ей объяснить, что не любишь дѣлать въ чулкахъ, она, ожидая прибавки, охотно вымоетъ ноги. Немно-

го припухшія отъ горячей воды, съ коротко подстриженными ноготками, наивныя, непривычныя къ тому, чтобы кто нибудь на нихъ смотрѣлъ, цѣловалъ, прижимался къ нимъ горячимъ лбомъ — ноги уличной дѣвченки обернутся въ ножки Психеи.

Сердце перестаетъ биться. Легкіе отказываются дышать. Бѣлоснѣжный чулочекъ снятъ съ ножки Психеи. Пока медленно, медленно обнажались колѣно, щиколотка, нѣжная дѣтская пятка — пролетали годы. Вѣчность прошла, пока показались пальчики... И вотъ — исполнилось все. Больше нечего ждать, не о чемъ мечтать, не для чего жить. Ничего больше нѣтъ. Только голыя ножки ангельчика, прижатыя къ окостенѣвшимъ губамъ и единственный свидѣтель — Богъ. Онъ былъ титулярный совѣтникъ, она генеральская дочь. И вотъ, вотъ...

Простыня холодная, какъ ледъ. Ночь мутно просвѣчиваетъ въ окно. Острый птичій профиль запрокинутъ въ подушкахъ. О, подольше, подольше, скорѣй, скорѣй. Все достигнуто, но душа еще не насытилась до конца и дрожитъ, что не успѣетъ насытиться. Пока еще есть время, пока длится ночь, пока не пропѣлъ пѣтухъ и атомъ дрогнувъ, не разорвался на миріады частицъ — что еще можно сдѣлать? Какъ еще глубже проникнуть въ свое торжество, въ суть вещей, чѣмъ еще ее ковырнуть, зацѣпить, расщепить? Погоди, Психея, постой, голубка. Ты думаешь это все? Высшая точка, конецъ, предѣлъ? Нѣтъ, не обманешь.

Тишина и ночь. Голые дѣтскіе пальчики прижаты къ окостенѣвшимъ губамъ. Они пахнутъ невинностью, нѣжностью, розовой водой. Но нѣтъ, нѣтъ — не обманешь. Штопоромъ, штопоромъ

вьется жадная страсть, сквозь видимость и поверхность, упоенно стремясь распознать въ ангельской плоти мечты свою кровную стыдную суть. — Ты скажи сквозь невинность и розовую воду чѣмъ твои бѣлыя ножки пахнутъ, Психея? Въ самой сути вещей чѣмъ онѣ пахнутъ, отвѣтъ? Тѣмъ же, что мои, ангельчикъ, тѣмъ же, что мои, голубка. Не обманешь, нѣтъ!

И Психея знаетъ: нельзя обмануть. Ея ножки трепещутъ въ цѣпкихъ жадныхъ ладоняхъ и трепеща отдаютъ послѣднее, что у ней есть, — самое сокровенное, самое дорогое, потому что самое стыдное: легчайшій, эфемерный, и все таки неуничтожимый никакой прелестью, никакой невинностью, никакимъ соціальнымъ неравенствомъ запахъ. Тотъ же, что отъ меня, голубка, тотъ же, что отъ моихъ плебейскихъ ногъ, институточка, ангельчикъ, бѣлая

кость. Значитъ, нѣтъ между нами ни въ чемъ разницы и гнушаться тебѣ мною нечего: я твои барскія ножки цѣловалъ, я душу отдалъ за нихъ, такъ и ты нагнись, носочки мои протухлые поцѣлуй. «Онъ былъ титулярный совѣтникъ, она генеральская дочь»... Что же мнѣ дѣлать теперь съ тобой, Психея? Убить тебя? Все равно — вѣдь и мертвая теперь ты придешь ко мнѣ.

По чужому городу идетъ потерянный человѣкъ. Пустота, какъ морской приливъ, понемногу захлестываетъ его. Онъ не противится ей. Уходя, онъ бормочетъ про себя — Пушкинская Россія, зачѣмъ ты насъ обманула? Пушкинская Россія, зачѣмъ ты насъ предала?

Тишина и ночь. Полная тишина, абсолютная ночь. Мысль, что все навсегда кончается, переполняетъ человѣка тихимъ торжествомъ. Онъ предчувствуетъ, онъ навѣрняка знаетъ, что это не такъ. Но пока длится эта секунда, онъ не хочетъ противиться ей. Уже не принадлежа жизни, еще не подхваченный пустотой — онъ позволяетъ себя баюкать, какъ музыкѣ или морскому прибою, смутной пѣвучей лжи.

Уже не принадлежа жизни, еще не подхваченный пустотой... На самой грани. Онъ раскачивается на паутинкѣ.

Вся тяжесть міра виситъ на немъ, но онъ знаетъ — пока длится эта секунда, паутинка не оборвется, выдержитъ все. Онъ смотритъ въ одну точку, безконечно малую точку, но пока эта секунда длится, вся суть жизни сосредоточена тамъ. Точка, атомъ, милліоны вольтъ, пролетающіе сквозь него и вдребезги, вдребезги плавящіе ядро одиночества.

... Спираль была закинута глубоко въ вѣчность. По ней пролетало все: окурки, закаты, безсмертные стихи, обстриженныя ногти, грязь изъ подъ этихъ ногтей. Міровыя идеи, кровь, пролитая за нихъ, кровь убійства и совокупленія, гемморoидальная кровь, кровь изъ гнойныхъ язвъ. Черемуха, звѣзды, невинность, фановыя трубы, раковыя опухоли, заповѣди блаженства, иронія, альпійскій снѣгъ. Министръ, подписавшій версальскій договоръ, пролетѣлъ напѣвая «Германія

должна платить» — на его острыхъ зубахъ застыла сукровица, въ желудкѣ просвѣчивалъ крысиный ядъ. Догоняя шинель, промчался Акакій Акакіевичъ, съ птичьимъ профилемъ, въ холщевыхъ подштанникахъ, измазанныхъ сѣменемъ онаниста. Всѣ надежды, всѣ судороги, вся жалость, вся безжалостность, вся тѣлесная влага, вся пахучая мякоть, все глухонѣмое торжество... И тысячи другихъ вещей. Теннисъ въ бѣлой рубашкѣ и купанье въ Крыму, снящіеся человѣку, котораго въ Соловкахъ заѣдаютъ вши. Разновидности вшей: платянныя, головныя и особенныя, подкожныя, выводимыя одной политанью. Политань, пилюли отъ ожиренія, шарики противъ беременности, ледоходъ на Невѣ, закатъ на Лидо и всѣ описанія закатовъ и ледоходовъ — въ безполезныхъ книгахъ литературныхъ классиковъ. Въ непрерывномъ пестромъ потокѣ промелькнули синее платье, размолв-

ка, зимній туманный день. Спираль была закинута глубоко въ вѣчность. Разбитое вдребезги, расплавленное міровое уродство, сокращаясь, вибрируя, мчалось по ней. Тамъ, на самой грани, у цѣли, все опять сливалось въ одно. Сквозь вращенье, трепетъ и блескъ, понемногу проясняясь, проступали черты. Смыслъ жизни? Богъ? Нѣтъ, все то же: дорогое, безсердечное, навсегда потерянное твое лицо.

Если бы звѣрьки могли знать, въ какомъ важномъ оффиціальномъ письмѣ я пользуюсь ихъ австралійскимъ языкомъ, они, конечно, были бы очень горды. Я былъ бы уже давно мертвъ, а они бы все еще веселились, приплясывали и хлопали въ свои маленькія ладошки.

«Ногоуважаемый господинъ комиссаръ. Добровольно, въ неособенно

трезвомъ умѣ, но въ твердой, очень твердой памяти я кончаю праздновать свои имянины. Самъ частица мірового уродства, — я не вижу смысла его обвинять. Я хотѣлъ бы прибавить еще, перефразируя слова новобрачнаго Толстого: «это было такъ безсмысленно, что не можетъ кончиться со смертью». Съ удивительной, неотразимой ясностью я это понимаю сейчасъ. Но, — опять переходя на австралійскій языкъ,—«это вашего высокоподбородія не кусается.»

24 февраля 1937 г.

